

литературы в России, литературы, подражающей тому, что дурно в другой литературе: «...французская словесность искажается – русские начинают ей подражать – Дмитриев, Карамзин, Богданович – как можно ей подражать: ее глупое стихосложение – робкий, бледный язык – вечно на помочах, Руссо в одах дурен».¹ Тредиаковский в таком случае (наряду, может быть, с И. А. Крыловым, «коего слог русский») выступает как олицетворение мечты о естественности исконно русской поэзии. Вероятно, не столько в находках (как Крылов), сколько в направлении самих поисков Тредиаковский оказался близок опальному поэту. Это и возбудило у него горячее сочувствие, потребность защищать поруганное достоинство своего литературного собрата. Во всяком случае, других, более подробных объяснений на этот счет Пушкин нам не оставил.

Примечания

1. См.: Берков П. Н. История русской журналистики XVIII в. М.; Л., 1952. С. 322.
2. См. об этом: Лотман Ю. М. «Езда в остров любви» Тредиаковского и функции переводной литературы в русской культуре первой половины XVIII века // Избр. статьи: В 3 т. Т. 2 Таллинн, 1992. С. 22–28.
3. Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Изд. 4-е. Т. 7 Л. 1978. С. 364.
4. Там же.

© С. В. Солодкова
Волгоград

САТИРА А. К. ТОЛСТОГО НА РАЦИОНАЛИЗМ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.

Одна из ярких сторон творчества А. К. Толстого – сатира на нигилистические, материалистические, атеистические и т. п. воззрения современного общества, которые в представлении поэта, по сути, сводились к общему знаменателю. Если попытаться одним словом выразить сущность характерных для Нового времени и, в частности, для шестидесятых годов XIX века явлений, то наиболее точно подчеркивающим их общность будет, как нам кажется, рациональность. Именно главные черты возобладавшего в обществе рационального мировоззрения подверглись наиболее беспощадной критике как гр. Толстого, так и его современников, стоящих на религиозных позициях (Н. В. Гоголя, Н. С. Лескова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого и др.). Сатира Толстого буквально уничтожала само основание, на котором зиждились и гностицизм, и рационализм, и натурализм, и материализм, и атеизм и т. п.

Именно эту веру в безграничную познавательную мощь человеческого разума, единственно способного открывать истину, афористически отрицает поэт, скрываясь за литературной маской Козьмы Прутков.

«Никто не обнимет необъятного» – повторяется трижды: «Плюнь тому в глаза, кто скажет, что можно обнять необъятное»; «Опять скажу: никто не обнимет необъятного»; «Есть ли на свете человек, который мог бы обнять необъятное?» (Прутков, 1965). О бесспорной принадлежности данных афоризмов А. К. Толстому свидетельствует его письмо к Б. М. Маркевичу 24 апреля – 25 мая 1860 г., (Париж). Ср., толстовские афоризм (подчеркнуто мной – С. С.): «Не старайся понимать своего начальника, его виды необъятны, никто не обнимет необъятного» (4, 119–120). И. Г. Ямпольский справедливо замечал, что многие афоризмы из этого письма «написаны в духе Козьмы Пруtkова, а некоторые из них являются вариантами прутковских» (1, 121).

Примечательно, что из 262 прутковских афоризмов ни один из тех, что звучат в «Мыслях...» лейтмотивом, не повторяется в столь четко сохраненной грамматической форме, более того, пятый подчеркивает намеренную (опять скажу) дословность повторов. Как видим, вариативность задается здесь не на уровне семантики, а на уровне синтагматики. Несмотря на достаточную удаленность высказываний друг от друга (I: № 3, № 44, № 67, № 104, № 160; II: № 91) они воспринимаются как текст, как целостное высказывание. Каждое из последующих является одновременно и повтором, и вариантом интонационной конструкции, и рецептивной реакцией на предыдущие афоризмы, создавая диалогическое контекстуальное поле в целом. В итоге не только повтор как стилистический прием усиления мысли, но и интонации риторического утверждения и риторического вопроса, и нагнетание однокоренных слов в пределах одной фразы (обнять необъятное), сводящих смысл к абсурду, и «сильные» позиции ключевых слов (трижды в начале основного высказывания – «никто»; в конце – «не обнимет необъятного») – задают афоризму интенции безапелляционности, категоричности и даже ультимативности («плюнь тому в глаза...»).

Так художником опровергается одна из важнейших философских эпистем познаваемости мира, выражающая веру в то, что окружающий нас мир познаваем разумом, что разум является единственным источником знания и критерием его истинности, но, подчеркнем, разумом автономным, исключающим религиозное воззрение. Знаменательно, что эта идея не оставляется творцами Пруtkова и вновь варьируется в «Гисторических материалах Федота Кузьмича Пруtkова (деда)». Сгущение сатирического пафоса в данном случае достигается благодаря тому, что личину саркастического «я» авторы надевают на представителя классического рационализма – Рене Декарта. Когда к «знаменитому французскому философу» «некий прохожий подступил с вопросом: «Скажи, мудрец, сколько звезд на сем небе?» – «Мерзавец! – ответствовал сей: – никто необъятного обнять не может!» – Сии, с превеликим огнем произнесенные, слова возымели на прохожего желаемое действие» (Пруtkов, 1965: 169)

В связи с этим примечателен, на наш взгляд, лейтмотив – «начала» в высказывании, следующим сразу за: «Есть ли на свете человек, который мог бы объять необъятное?». Афоризм этот являет собой некую завершающую и подводящую итог мысль-аллюзию: «Отыщи всему начало, и ты многое поймешь!» (№ 92). Именно библейская аллюзия («отыщи всему начало») сообщает контексту, что в действительности возможно понять и познать человеческим разумом с христианской точки зрения. Первые строки из Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (гл. 1, ст. 1–3), – возвращают читателя из области чисто рационального к религиозному мировоззрению. Вопреки пути познания, вытекающему из учения о *lumen naturale rationis* (естественный разум), Толстой утверждает познание в свете Христовом, исходя из кардинальной метафизической идеи христианства о том, что мир сотворен Богом. Познание во Христе означает, «что в свете Христовом стремится человек увидеть и познать мир, чтобы полюбить его и через любовь воссоединиться с ним» (Зеньковский, 1996: 139).

Таким образом, А.К. Толстой в своей сатире выступал не против науки как способа объективного осмысления действительности. Достаточно вспомнить его «Послание к М.Н. Лонгинову о дарвинизме», где писатель юмористически наставляет начальника по делам печати, запретившего книги Ч. Дарвина: «Брось же, Миша, утрашенья, / У науки нрав не робкий, / Не заткнешь ее теченья / Ты своей дрянною пробкой!» (Толстой, 1963: 1,431). Поэт протестовал против науки ради самой науки, стоящей вне религии, интегрировавшей нравственное, познавательное и эстетическое начала духовной жизни. И даже наблюдая проявления рационализма в дарвинизме, Толстой не ополчается на науку в целом, но выносит на общий суд примитивизм в понимании эволюции форм жизни и отрицание участия Творца в творении.

Примечательно, что, не принимая отождествление дарвинизма с нигилизмом, поэт в то же время блестяще обыгрывает то общее, что и послужило причиной огромной популярности Дарвина среди прогрессивных кругов, и прежде всего атеистический смысл данной теории, естественнонаучный материализм. Толстой предельно снижает материалистические представления Дарвина и нигилистов: первый исключает «сверхъестественное» из процесса зарождения и развития жизни на Земле, вторые же – из настоящего и тем более из счастливого будущего человечества. Именно в этом и состоит, с точки зрения сатирика, не только внешнее, но и нравственное безобразие и нечистота дарвинизма и нигилизма:

От скотов нас Дарвин хочет
До людей возвесть средину –

Нигилисты же хлопочут,
Чтоб мы сделались скотины.
В них не зная, а прямое
Подтверждение дарвинизма,
И сквозят в их диком строе
Все симптомы атавизма
(1, 429–430)

Для христианского мировоззрения характерен совершенно противоположный подход к познанию мира, и именно его разделял Толстой. Синтез религиозной веры и разума («и вещим сердцем понял я...») позволяло «видеть» мир благодаря свету Христову, то есть видеть и всю поверхность мира, и глубину его, видеть (интуитивно) его гармонию, ибо он сам возник и держится на Премудрости Божией. Поэтому замысел познания, в свете православного учения, «есть не что иное, как интуиция смысла, интуиция стройности в мире, переходящая в потребность охватить этот смысл. Потребность познания мира есть поэтому первое и основное проявление любви к миру – познание есть путь, диктуемый потребностью охватить предмет любовью» (Зеньковский, 1996: 129). Идея, что любовь движет познанием («познаем настолько, насколько любим» – Августин Аврелий), что нравственность определяет красоту нами содеянного, непосредственно выразилась в лирических мотивах поэта, например, в таких стихотворениях, как «Меня во мраке и пыли», «Я вас узнал, святые убежденья...», «И. С. Аксакову» и т.д.

Именно поэтому сатирические произведения А. К. Толстого направлены против распространенного в науке XIX в. взгляда, согласно которому истинное познание совершается холодным умом, свободным от религиозных догм, понятий «души» и веры в Бога: «Там какой-то аптекарь, не то патриот, / Пред толпою ученье проводит: / Что, мол, нету души, а одна только плоть / И что если и впрямь существует Господь, / То он только есть вид кислорода, / Вся же суть в безначалье народа» (1, 311). В балладе «Поток-богатырь» комическое выражается посредством смысловых несоответствий, мастерски «скрытых» в стилистических контрастах: сниженных выражений (какой-то аптекарь, не то патриот) и высоких, академических (ученье проводит). Таким образом, автор изначально задает ироническое отношение к самой ситуации «учения», предлагая читателю посмеяться вместе с ним над псевдонаукой и в целом псевдопросвещением толпы «передовыми людьми». Ср., напр., с одной из первоначальных редакций баллады «Алеша Попович», где строфы соотносятся друг с другом по принципу антитезы. Толстой не только поднимает свое «знамя Красоты» против «мудрости века сего», но одновременно утверждает вечные христианские идеалы:

Сами ведая не много,
 Любят мудрости учить;
 Мудрость их: не верить в Бога
 И лягушек потрошить!
 Я ж боец и песнопевец!
 Я лягушек не ловлю!
 Я лишь именем попович,
 Я и верю и люблю!

(1, 724–725)

Развенчивая типичную для 60-х годов секулярную мифологему «всепоглощающей веры в естественные науки», поэт-боец обрушивает искрометный поток смеха в «Медицинских стихотворениях» на представителей нового естественнонаучного мировоззрения. В сущности «антимедицинские» мотивы берут свои истоки еще в древнерусской сатирической литературе, традиции которой были продолжены в эпиграммах XVIII–XIX вв. Однако во второй половине XIX в. тематические акценты заметно смещаются. Если до сих пор высмеивалось только шарлатанство врачей, благодаря искусству которых «опочили многие», то теперь предметом сатиры оказывается односторонний натуралистический подход как к человеку, так и к живым организмам и природе в целом. Отдавая дань традиции, Толстой посвящает медику-душегубу отдельное стихотворение – «Навозный жук, навозный жук...», но значительно оживляет его юмористическое содержание аллюзией на метемпсихозу.

Оригинальность же толстовского «смеха» в «антимедицинской» тематике проявилась в стихотворении «Доктор божией коровке...», за юмористической ситуацией которого скрывается повествование о серьезных предметах. Основанием сатирической художественности произведения выступает нелепость, неожиданность смысловых отношений (врач, покушающийся на честь божией коровки) и подчеркнутое автором несоответствие «внешних» пропорций («Я мала, а он велик!») – некий мир небывальщины. Заданная «крошечность» образа как будто свидетельствуют о неспособности заполнить ролевою границу «настоящей» лирической героини. Однако «дегероизация» оказывается мнимой: смешна отнюдь не божия коровка. Превеличенное снижение образа «насекомого» разрастается до положительного ценностного содержания благодаря христианским коннотациям, создающим на втором плане (в подтексте) художественную целостность принципиально иного типа. В первую очередь, главнейшим ценностным смыслом обладает само имя «героини» – «божия». Не случайно появляется и его перифраз – «тварь Божия», закономерно в связи с этим и заступничество чудотворца Николая. Именно эта «ценность» сама по себе и раскрывает активную авторскую позицию, противопоставленную «обесцененному» средствами комического «антигерою» («Подстрекнул меня, знать, бес!») – врачу с явно натуралистическим мировоззрением. Исполни-

зованный поэтом эстетический фон и особенно чудесное происшествие становятся моментом сатирического разоблачения такого взгляда на мир, согласно которому природа выступает как единый, исключаящий «сверхъестественное», универсальный источник объяснения всего сущего. «Атеисту, деисту или материалисту, признающим только законы природы и человеческого общежития, невыносима мысль о чуде, – справедливо замечает Л.В. Жаравина, – т.е. о наличии таких явлений, источником которых может быть только Высшая Сила. Если для «демифологизаторов» чудеса отнесены в область фантастического, то для религиозно мыслящей личности вера в «дивные дела», или знамения Божии, – основа основ его жизненной позиции» (Жаравина, 1995: 92). Отсюда и коннотации «страха Божия» – «устрашась», и комичность ситуации «Фомы не верующего», в страхе понесшегося вскач от грома Господня, и невольно срывающиеся слова с уст «вольнодумного» врача «скептического складу» и «не любившего духовных лиц» (1, 403): «Ловко! / Ну уж божия коровка! / Подстрекнул меня, знать, бес!» (подчеркнуто мной – С.С.). И в итоге – сакраментальный «финал» – «Сколько в мире есть чудес!», звучащий как приговор рационалистическому мировоззрению в целом. Ср., напр., с прутковским афоризмом № 110 (I): «Глядя на мир, нельзя не удивляться!».

Совершенно не удивительно поэтому, что прогрессивная критика называла Толстого ретроградом. Удивительно то, что Толстой оказался несовременен не только своему веку – XIX, но и следующему – XX, оставаясь пророком, не услышанным в своем отечестве. На это еще в начале XX века указывал Иван Бунин в своей статье о «великом русском поэте – А.К. Толстом», которому дано было разглядеть не только сущность пагубных рационалистических настроений, буквально захлестнувших общество, но и предвидеть их последствия для человечества.

Примечания

1. Жаравина Л.В. «Драматические опыты» А.С. Пушкина в философском контексте. Волгоград: Перемена, 1995.
2. Зеньковский В.В. Основы христианской философии. М.: Канон+, 1997.
3. Прутков К. Полн. собр. соч. М.-Л.: Сов. писатель, 1965.
4. Толстой А.К. Собр. соч.: В 4 т. М.: Худож. лит., 1963. Ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

© И.С. Турбанов
Екатеринбург

МОТИВ ПРИРОДЫ КАК ТЕЛА И ТЕЛО ПРИРОДЫ У ТУРГЕНЕВА

Важность постоянного присутствия природы и сложная сеть мотивов ее изображения в произведениях Тургенева глубоко выразил В.В. Зеньковский в своей работе «Мирозозерцание Тургенева»¹ Расширяя

228